

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМПАС РОССИИ

Федор
Абрамов

◆
ДЕРЕВЯННЫЕ
КОНИ

Федор Александрович Абрамов

Деревянные кони

Серия «Литературный компас России»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74377426

Деревянные кони. повести, рассказы: Азбука, Издательство АЗБУКА;

СПб; 2026

ISBN 978-5-389-34797-7

Аннотация

Федор Александрович Абрамов (1920–1983) – один из самых известных русских писателей XX века, представитель так называемой «деревенской прозы» – популярного в 1960–1980-е годы литературного направления в советской литературе. Успех Федору Абрамову принесла публикация в 1958 году его дебютного романа «Братья и сестры», рассказывающего о жизни пинежской старообрядческой деревни в период Великой Отечественной войны. Писатель много ездил по России и никогда не терял связи с малой родиной, которой посвящал свое творчество – в том числе рассказы и повести, объединенные в настоящем издании: «Деревянные кони», «Пелагея» и «Алька» (своего рода трилогия о русских женщинах), «Безотцовщина», «Мамониха», «Жила-была семушка» и другие. Главная мысль Абрамова, звучащая в каждом его произведении, – значимость родного дома как первоосновы человеческого бытия. И в наши дни рассказы и повести Федора Абрамова читатели

любят за внимание к судьбам самых обычных людей, их повседневным заботам, горестям и радостям.

Содержание

Повести	9
Деревянные кони	9
Конец ознакомительного фрагмента.	35

**Федор Александрович
Абрамов**

Деревянные кони
Повести. Рассказы

© Ф. А. Абрамов (наследники), 2026

© Оформление

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КОМПАС РОССИИ

Федор
Абрамов

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ



Санкт-Петербург

Повести

Деревянные кони

1

О приезде старой Милентьевны, матери Максима, в доме поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к нему.

Сам Максим, например, довольно равнодушный к своему хозяйству, как большинство бездетных мужчин, в последний выходной не разгибал спины: перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома, разделал на чурки с весны лежавшие под окошками еловые кряжи и наконец, совсем уже в потемках, накидал досок возле крыльца – чтобы по утрам не плавать матери в росяной траве.

Еще больше усердствовала жена Максима – Евгения. Она все перемыла, перескоблила – в избах, в сенях, на вышке, разостлала нарядные пестрые половики, до блеска начистила старинный медный рукомоЙник и таз.

В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И все-таки приезд

старухи был для меня как снег на голову.

В то время, когда лодка с Милентьевной и ее младшим сыном Иваном, у которого она жила, подошла к деревенскому берегу, я ставил сетку на другой стороне.

Было уже темновато, туман застилал деревенский берег, и я не столько глазом, сколько ухом угадывал, что там происходит.

Встреча была шумной.

Первой, конечно, прибежала к реке Жука – маленькая соседская собачонка с необыкновенно звонким голосом, – она на рев каждого мотора выбегает, – потом, как колокол, загремело и заухало знакомое мне железное кольцо – это уже Максим, трахнув воротами, выбежал из своего дома, потом я услышал тонкий плаксивый голос Евгении: «О, о! Кто к нам приехал-то!...» – потом еще, еще голоса – бабы Мары, старика Степана, Прохора. В общем, похоже было, чуть ли не вся Пижма встречала Милентьевну, и, кажется, только я один в эти минуты клял приезд старухи.

Мне давно уже, сколько лет, хотелось найти такой уголок, где бы все было под рукой: и охота, и рыбалка, и грибы, и ягоды. И чтобы непременно была заповедная тишина – без этих принудительных уличных радиодинамиков, которые в редкой деревне сейчас не гремят с раннего утра до поздней ночи, без этого железного грохота машин, который мне осточертел и в городе.

В Пижме я нашел все это с избытком.

Деревушечка в семь домов, на большой реке, и кругом леса – глухие ельники с боровой дичью, веселые грибные сосняки. Ходи – не ленись.

Правда, с погодой мне не повезло – редкий день не перепадали дожди. Но я не унывал. У меня нашлось еще одно занятие – хозяйский дом.

Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре: изба-зимовка, изба-летница, вышка с резным балкончиком, горница боковая. А кроме них, были еще сени светлые с лестницей на крыльцо, да клеть, да поветь саженой семь в длину – на нее, бывало, заезжали на паре, – да внизу, под поветью, двор с разными стайками и хлевами.

И вот, когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, не спеша. Вразвалку. Чтобы не только сердцем и разумом – подошвами ног почувствовать прошлые времена.

Теперь, с приездом старухи, на этих разгулах по дому надо поставить крест – это было мне ясно. И на моих музейных занятиях – так я называл собирание старой крестьянской утвари и посуды, разбросанной по всему дому, – тоже придется поставить крест. Разве смогу я втащить в избу какой-нибудь пропылившийся берестяной туес и так и этак разглядывать его под носом у старой хозяйки? Ну а о всяких там других привычках и удовольствиях, вроде того чтобы среди дня завалиться на кровать и засмолить папиросу, об этом и думать

Я долго сидел в лодке, приткнутой к берегу.

Уже туман наглухо заткал реку, так что огонь, зажженный на той стороне, в доме хозяев, был похож на мутное желтое пятно, уже звезды высыпали на небе (да, все вдруг – и туман, и звезды), а я все сидел и сидел и распалял себя.

Меня звали. Звал сам Максим, звала Евгения, а я закусил удила и – ни слова. У меня даже одно время появилась было мыслишка укатить на ночлег в Русиху – большую деревню, километра за четыре, за три вниз по реке, да я побоялся заблудиться в тумане.

И вот я сидел, как сыч, в лодке и ждал. Ждал, когда на той стороне погаснет огонь. С тем чтобы хоть ненадолго, до завтра, до утра, отложить встречу со старухой.

Не знаю, сколько продолжалось мое сидение в лодке. Может быть, два часа, может быть, три, а может, и четыре. Во всяком случае, по моим расчетам, за это время можно было и поужинать, и выпить уже не один раз, а между тем на той стороне и не думали гасить огонь, и желтое пятно все так же маячило в тумане.

Мне хотелось есть – давеча, придя из лесу, я так спешил на рыбалку, что даже не пообедал, меня колотила дрожь – от сырости, от ночного холода, и в конце концов – не пропадать

же — я взялся за весло.

Огонь на той стороне сослужил мне неоценимую службу. Ориентируясь на него, я довольно легко, не блуждая в тумане, переехал за реку, затем так же легко по тропинке, мимо старой бани, огородом поднялся к дому.

В доме, к моему немалому удивлению, было тихо, и, если бы не яркий огонь в окошке, можно было бы подумать, что там уже все спят.

Я постоял-постоял под окошками, прислушиваясь, и решил, не заходя в избу, подняться к себе на вышку.

Но зайти в избу все-таки пришлось. Потому что, отворяя ворота, я так брякнул железным кольцом, что весь дом задрожал от звона.

— Сыскался? — услышал я голос с печи. — Ну, слава богу. А я лежу и все думаю, хоть бы ладно-то все было.

— Да чего неладно-то! — с раздражением сказала Евгения. Она тоже, оказывается, не спала. — Это вот для тебя светильню-то выставила, — кивнула Евгения на лампу, стоявшую на подоконнике за спинкой широкой никелированной кровати. — Чтобы, говорит, постоялец в тумане не заблудился. Ребенок постоялец-то! Сам-то уж не сообразит, что к чему.

— Да нет, всяко бывает, — опять отозвалась с печи старуха. — Кой год у меня хозяин всю ночь проплавал по реке, едва к берегу прибил. Такой же вот туман был.

Евгения, охая и морщась, начала слезать с кровати, чтобы покормить меня, но до еды ли мне было в эти минуты!

Кажется, никогда в жизни мне не было так стыдно за себя, за свою безрассудную вспыльчивость, и я, так и не посмеяв поднять глаза кверху, туда, где на печи лежала старуха, вышел из избы.

3

Утром я просыпался рано, как только внизу начинали ходить хозяева.

Но сегодня, несмотря на то что старый деревянный дом гудел и вздрагивал каждым своим бревном и каждой своей потолочиной, я заставил себя лежать до восьми часов: пусть хоть сегодня не будет моей вины перед старым человеком, который, естественно, хочет отдохнуть с дороги.

Но каково же было мое удивление, когда, спустившись с вышки, я увидел в избе только одну Евгению!

– А где же гости? – Про Максима я не спрашивал. Максим после выходного на целую неделю уходил на свой смолокурный завод, где он работал мастером.

– А гости были да сплыли, – веселой скороговоркой ответила Евгения. – Иван домой уехал – разве не чул, как мотор гремел, а мама, та, известно, за губами ушла.

– За губами! Милентьевна за грибами ушла?

– А чего? – Евгения быстро взглянула на старинные, в травяных узорах часы, висевшие на передней стене рядом с вишневым посудным шкафчиком. – Еще пяти не было, как

ушла. Как только начало светать.

– Одна?

– Ушла-то? Как не одна. Что ты! Который год я тут живу? Восьмой, наверно. И не было вот годочка, чтобы она в это время к нам не приехала. Всего наносит. И соленых, и обабков, и ягод. Краса Насте. – Тут Евгения быстро, по-бабьи оглянувшись, перешла на шепот: – Настя и живет-то с Иваном из-за нее. Ей-богу! Сама сказывала весной, когда Ивана в город возила от вина лечить. Горькими тут плакала. «Дня бы, говорит, не мучилась с ним, дьяволом, да мамы жалко». Да, вот такая у нас Милентьевна, – не без гордости сказала Евгения, берясь за кочергу. – Мы-то с Максимом оживаем, когда она приезжает.

И это верно. Я никогда еще не видел Евгению такой легкой и подвижной, ибо по утрам она, шлепая по дому в старых разношенных валенках и в стеганой телогрее, всегда стонала и охала, жаловалась на ломоту в ногах, в поясице – у нее была тяжелая жизнь, как, впрочем, у всех деревенских женщин, юность которых пала на военную страду: только с багром в руках она тринадцать раз прошла всю реку от вершины до устья.

Сейчас я глаз не мог отвести от Евгении. Просто чудо какое-то произошло, будто ее живой водой вспрыснули. Железная кочерга не ворочалась – плясала в ее руках. Печной жар трепетал на ее смуглом моложавом лице, и черные круглые глаза, такие сухие и строгие, сейчас мягко улыбались.

На меня тоже напал какой-то непонятный задор. Я быстро сполоснул лицо, сунул ноги в калоши и выскочил на улицу.

Туман стоял страшный – я только теперь понял, что на окошках не занавески белели. Реку затопило с берегами. Даже верхушек прибрежных елей на той стороне не было видно.

Я представил себе, как где-то там, за рекой, в этом сыром и холодном тумане, бродит сейчас с коробкой старая Милентьевна, и побежал в сарай колоть дрова. На тот случай, если придется затоплять баню для иззябшей старухи.

4

Я раза три в то утро выбегал к реке, да столько же раз, наверно, выбегала Евгения, и все-таки мы не укараулили Милентьевну. Явилась она внезапно. В то время, когда мы с Евгенией завтракали.

Не знаю, то ли оттого, что ворота на крыльце не были заперты, то ли мы с Евгенией слишком заговорились, но только вдруг дверь подалась назад, и я увидел ее – высокую, намокшую, с подоткнутым по-крестьянски подолом, с двумя большими берестяными коробками на руках, полнехонькими грибов.

Мы с Евгенией выскочили из-за стола, чтобы принять эти коробки. А сама Милентьевна, не очень твердо ступая, прошла к прилавку у печи и села.

Она устала, конечно. Это видно было и по ее худому тонкому лицу, до бледности промытому нынешними обильными туманами, и по ее заметно вздрагивающей голове. Но в то же время сколько благодного удовлетворения и тихого счастья было в ее голубых, слегка прикрытых глазах. Счастья старого человека, хорошо, всласть потрудившегося и снова и снова доказавшего и себе, и людям, что он еще не зря на этом свете живет. И тут я вспомнил свою покойную мать, у которой, бывало, вот так же довольно светились и сияли глаза, когда она, до упаду наработавшись в поле или на покосе, поздно вечером возвращалась домой.

Евгения, ахая, причитая: «Вот какая у нас бабка! Мы еще сидим – брюхо набиваем, а она уже наработалась», развернула бурную деятельность. Как подобает примерной невестке. Она занесла легкий ушатик из сеней, вымытый, выпаренный, заранее приготовленный для засолки грибов, сбегала в клеть за солью, наломала в огороде свежего пахучего смородинника, а потом, когда Милентьевна, немного передохнув, ушла переодеваться на другую половину, начала сворачивать на середке избы пестрые половики, то есть готовить место для засолки.

– Думаешь, она сейчас исть-пить будет? – заговорила Евгения, как бы объясняя мне, почему она не хлопочет сперва о завтраке для свекрови. – Ни за что! Старорежимный человек. Покамест грибы не приберет, лучше и не заикайся об еде.

Мы сели прямо на голый пол, кучно, нога к ноге. Вокруг нас мельтешили солнечные зайчики, грибной дух мешался с избытком теплом, и так славно, так приятно было смотреть на старую Милентьевну, переодевшуюся в сухое ситцевое платье, на ее темные, жиливатые руки, которые она то и дело погружала то в коробку, то в ушатик, то в эмалированную кастрюлю с солью, — старуха, конечно, солила сама.

Грибы были отборные, крепкие. Желтая молоденькая сыроежка со сладким пеньком, который на севере едят как репу, белый сухой конек, рыжик, волнушка и царь соlex — масляный груздь, который особенно хорошо оправдывает свое название в такой вот солнечный день, как нынешний, — так и кажется, что в его блюдце комками плавится топленое масло.

Я неторопливо, с великой осторожностью брал из коробки гриб и каждый раз, прежде чем начать счищать с него соринки, поднимал его к свету.

— Что — не видал такого золота? — спросила меня Евгения. Спросила с подковыркой, явно намекая на мои довольно скромные приношения из леса. — Да вот, в том же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя нету. Не удивляйся. У ей с этим заречным ельником с первой брачной ночи дружба. Она из-за этих грибов едва живота не лишилась.

Я непонимающе посмотрел на Евгению: о чем, собственно, речь?

— Как? — страшно удивилась она. — Да разве ты не слыхал? Не слыхал, как муж в ей из ружья стрелял? Ну-ко, мама, ска-

зывай, как дело-то было.

– А чего сказывать, – вздохнула Милентьевна. – Мало ли чего меж своих не бывает.

– Меж своих... Да ведь этот свой мало тебя не убил!

– А раз мало, то не в счет.

Черные сухие глаза Евгении неистово округлились.

– Я не знаю, ты, мама... Уж все вкось да поперек. Может, скажешь еще, что ничего и не было? Может, и головная трясучка у тебя не после этого?

Евгения заправила тыльной стороной руки выбившуюся прядку волос за маленькое ухо с красной сережкой-ягодкой и, видимо, решив, что от свекрови все равно никакого толка не будет, начала рассказывать сама:

– Шестнадцати лет нашу Милентьевну взамуж выпихнули. Может, еще и грудей-то не было. У меня не было в эти годы, ей-богу. А про то, как девка жить будет, про то разве раньше думали? Отец, родимый батюшко, на житье женихово позарился. Один парень в доме, красоваться будешь. А какая краса, когда дикарь на дикаре вся деревня?

– Да, может, хоть не вся, – возразила Милентьевна.

– Не защищай, не защищай! Кто хошь скажет. Дикари. Да и я помню. Бывало, к нам в праздник в большую деревню выберутся – орда ордой. Все скопом – женатые, неженатые. С бородами, без бороды. Идут, орут, каждого задирают, воздух портят – на всю деревню пальба. А дома у себя – никто не видит – и того чище. Уж каждый с какой-нибудь придурыю да

забавой. Один в сарафане бабьем бегают, другой – Мартынок-чирик был – все на лыжах за водой на реку ходил. Летом, в жару, да еще шубу наденет, кверху шерстью. А Исак Петрович, тот опять на архиерее помешался. Бывало, говорят, вечера дождется, лучину в передних избах зажжет, набивник синий на себя наденет – сарафан бабкин – да ходит-ходит из избы в избу, псалмы распевает. Так, мама? Не вру?

– Люди не без греха, – уклончиво ответила Милентьевна.

– Не без греха! Каки такие грехи у тебя в шестнадцать лет были, чтобы из ружья стрелять? Нет уж, такая порода. Весь век в лесу да в стороне от людей – поневоле начнешь лесеть да сходить с ума. И вот в такой-то зверушник да девку в шестнадцать лет и кинули. Хошь выживай, хошь погибай – твое дело.

Ну, мама у нас решила перво-наперво свекра да свекровь на свою сторону перетягивать. Им угоду делать. А чем можно было перетянуть стариков в бывалошное время? Работой.

И вот новобрачные в первую ночь милуются да любят, а Василиса Милентьевна у нас встала ни свет ни заря да за реку по грибы. Осенью тебя, мама, в это время выдали?

– Кажись, осенью, – не очень охотно ответила Милентьевна.

– Да не кажись, а точно, – убежденно сказала Евгения. – Летом-то много ли в лесу губ, а ты ведь коробку-то наломала за час, за два. Когда тебе было расхаживать по лесу, когда тебя муж дома ждет?

Ну вот, возвращается у нас Милентьевна из лесу. Рада. Ни одного дыма над деревней нету, все еще спят, а она уж с грибами. Вот, думает, похвалят ее. Ну и похвалили. Только она переехала за реку да шаг какой ступила от лодки – бух выстрел в лицо. Грозный муж молодую жену встречает...

У старой Милентьевны, как веревки, натянулись жилы на худой морщинистой шее, сгорбленная спина выпрямилась – она хотела унять дрожь, которая заметно усилилась. Но Евгения ничего этого не видела. Она сама не меньше свекрови переживала события того далекого утра, известные ей по рассказам других, и кровь волнами то прилиwała, то отлиwała от ее смуглого лица.

– Бог, Бог отвел смерть от мамы. Далеко ли от огорода до бани? А мама как раз к бане подошла, когда он ружье-то на нее навел, да, видно, рука-то после пьянки взыграла, а то бы наповал. Дробь и теперь в дверке у бани сидит. Не видал? – обратилась ко мне Евгения. – Посмотри, посмотри. Меня муженек сюда первый раз привез, куда, думаешь, перво-наперво повел? Терема свои показывать? Золотой казной хвастаться? Нет, к бане черной. «Это, говорит, мой отец мать учил...» Вот какой лешак! Все, все у них тут такие. По каждому кутузка плачет...

Я видел: старая Милентьевна давно уже тяготится этим разговором, ей неприятна наша бесцеремонная назойливость. А с другой стороны – как остановить себя, когда ты уже целиком захвачен этой необычной историей? И я спро-

сил:

– Да из-за чего же весь этот сыр-бор загорелся?

– Пальба-та эта? – Евгения любила все называть своими именами. – Да из-за Ваньки-лысого. Вишь он, лешак, прости господи, неладно бы так своего свекра называть, хватился утром-то... Где вы, мама, спали? На повети? Туда-сюда рукой – нету. На улицу вылетел. А тут и она, молодая жена. Из заречья идет. Вот он и взбеленился. А, думает, так-перетак, к Ваньке-лысому ездила? На свиданье?

Милентьевна, к этому времени, должно быть, опять овладев собой, спросила не без издевки:

– А ты и про то знаешь, что твой свекор думал?

– Да почто не знать-то. Люди соврать не дадут. Иван-лысой, бывало, напьется: «Ребята, я смолоду в двух деревнях прописан: телом дома, а душой в Пижме». До самой смерти говорил. Красивой мужик был.

Ох, да чего рассусоливать. Женихов косяк у мамы был. За красоту и брали. Вишь ведь, она и теперь у нас хоть взамуж выдавай, – польстила свекрови Евгения и, кажется, впервые за все время, что рассказывала, улыбнулась.

Затем, как-то жеманно, с прищуром поведя своим черным безрадостным глазом, заговорила игриво:

– Ну а тебя, мама, тоже не хвалю. Уж как ни молода была, а должна понимать, для чего взамуж берут. Всяко, думаю, не для того, чтобы по грибы в первую ночь бегать...

Ох, как тут сверкнули тихие голубые глаза у старой Ми-

лентьевны! Будто гроза прошла за окошками, будто там ка-
ленное ядро разорвалось.

Евгения сразу смешалась, поникла, я тоже не знал, куда
девать глаза. Некоторое время все сидели молча, с особым
старанием выбирая сор из грибов.

Милентьевна первой подала голос к примирению. Она
сказала:

– Сегодня я уж вспоминала свою жизнь. Хожу по лесу да
умом-то все назад дорогу топчу. Семой десяток нынче по-
шел...

– Седьмой десяток, как вы вышли замуж на Пижму? –
уточнил я.

– Да хоть не вышла, а выпихнули, – с легкой усмешкой
сказала Милентьевна. – Верно она говорит: не было у меня
молодости. И по-нонешнему сказать, не любила я своего му-
жа...

– Ну вот, – не без злорадного торжества воскликнула Ев-
гения, – призналась! А я рта не раскрой. Все не так, все не
ладно.

– Да ведь когда по живому-то месту пилят, и старое дерево
скрипит, – еще примирительней сказала Милентьевна.

Грибы подходили к концу.

Евгения, поставив на колени пустую коробку, начала вы-
бирать из грибного мусора ягоды – мокрую, переспелую чер-
нику и крупную, в самой поре бруснику. Она все еще ду-
лась, хотя нет-нет да и бросала время от времени любопыт-

ные взгляды на свекровь – та опять принялась за прошлое.

– Старые люди любят хвалить бывалошные времена, – говорила Милентьевна негромким, рассудительным голосом, – а я не хвалю. Нынче народ грамотной, за себя постоит, а мы смолоду не знали воли. Меня выдали взамуж – теперь без смеха и сказать нельзя – из-за шубы да из-за шали...

– Неужели? – в страшном волнении воскликнула Евгения. – А я и не слыхала.

От ее недавней сердитости не осталось и следа. Жадное бабье любопытство, столь глубоко укоренившееся в ее натуре, взяло верх над всеми другими чувствами, и она так и впилась своим пылающим взглядом в свекровь.

– Так, – сказала Милентьевна. – Отец у нас, вишь, строился, хоромы возводил, каждая копейка была дорога, а тут я стала подрастать. Бесчестье, ежели дочь на игрище выйдет без новой шубы и шали, вот он и не устоял, когда из Пижмы сваты приехали: «Без шубы и шали возьмем...»

– А братья-то где были? – опять, не выдержав, перебила Евгения. – Хорошие у мамы были братья. Беда как ей жалели. Как свечу на руках несли. Уж она взамужем была, у самих ребят полные избы, а все сестре помогали...

– А братья, – сказала Милентьевна, – в лесу в ту пору были. Лес на двор рубили.

Евгения живо закивала:

– Ну тогда ясно, ясно. А я все голову ломаю, как такие братья, первые люди по деревне – из хорошего житья мама

брана, — сестру любимую не могли отстоять. А оно вон что — их дома не было, когда-тебя сватали...

После этого, уточняя все новые и новые подробности, неизвестные ей, Евгения опять стала забирать разговор в свои руки. И вскоре кончилось все тем, что негромкий голос Милентьевны совсем замолк.

Евгения переживала давнишнюю драму свекрови всем своим существом.

— Беда, беда, что могло быть! — размахивала она руками. — Братья услышали: зять сестру застрелил — на конях прискакали. С ружьями. «Только одно словечушко, сестра! Сейчас дух выпустим». Крутые были. Силачи — медведя в дугу согнут, не то что там человека. И вот тогда мама и сказала им: «И не стыдно вам, братья дорогие, шум понапрасну подымать, людей добрых баламутить. Хозяин молодой у нас ружье пробовал, на охоту собирается, а вы невесть что взяли...»

Вот какая она у нас умница-разумница была! Это в шестнадцать-то лет! — Евгения с гордостью посмотрела на свою потупившуюся свекровь. — Нет, подними на меня Максим руку, я бы не вытерпела. Засудила бы и засадила куда следует. А она головой потряхивает да братьев своих отчитывает: «Куда суетесь? Есть у вас голова-то на плечах? Поздно мне теперь назад заворачивать, когда голова бабьим повойником покрыта. Надо тут мне приживаться да уживаться». Вот так, такой поворот всему делу дала.

Евгения вдруг всхлипнула. Она ведь, в сущности, была добрый человек.

– Ну так уж свекор ей за это только что ноги не целовал. Что ты, что ты, ведь смертоубийство могло быть. Братья распалились – чего им стоило решку на Мирона навести. Я-то маленькая была, худо помню Онику Ивановича, а люди старые и сейчас поминают. Откуда ни идет, с какой стороны ни едет, а подарок своей сношеньке завсегда. А ежели загуляет да начнут уговаривать остаться ночевать: «Нет-нет, робята, не останусь. Домой попадать буду. Я по своей Василисе Прекрасной соскучился». Все, как выпьет, Василисой Прекрасной называл.

– Называл, – вздохнула Милентьевна, и мне показалось, что ее старые, выдавшие виды глаза повлажнели.

Евгения, по-видимому, тоже заметила это. Она сказала:

– Есть, есть за что помянуть добрым словом Онику Ивановича. Может, только он один и человек в деревне был. А тут все как есть урвай. – (В Пижме все носят одну фамилию – Урваевы.) – И Мирон Оникович, мой свекор-батюшко, тоже урвай. Да еще урвай-то какой. Другой бы на его месте после такой истории знаешь как повел себя? Тише воды ниже травы. А этот такая поперечина – за все взыск.

Милентьевна подняла голову, она, видно, хотела вступить за своего мужа, но Евгения, опять вошедшая в раж, и рта открыть ей не дала.

– Нечего, нечего закрашивать. Всяк знает какой. Кабы хо-

рошей был, разве не выпускал бы тебя десять лет с Пижмы? Нигде не бывала мама – ни у родителей своих, ни на гулянье. Да и куделю-то, бывало, пряла одна, а не на вечерянке. Вот такая ревность лешья была. Да чего говорить? – Евгения махнула рукой. – За все спрос да взыск. Скажи-ко на милость, виновата ли жена, что все дети обличьем в ей, а не в отца, а у него и за то взыск: «Чей это голубель за столом рассыпан?» Все так допрашивал маму, когда напьется. А чего бы, кажись, допрашивать? Сам темный, небаскающий, как головешка копченая, лицо в шадринах, оспой болел, как, скажи, овцы ископытили... Да радоваться надо, Богаечно молить, что дети не в тебя...

Не знаю, то ли не понравилось Милентьевне, как невестка обращается с ее прошлым, то ли она, как крестьянка старого закала, не привыкла долго сидеть без дела, но она вдруг начала подниматься на ноги, и разговор у нас оборвался.

5

Дом Максима единственный в Пижме, который развернут фасадом вниз по течению реки, а все остальные стоят к реке озадками.

Евгения, не очень жаловавшая пижемцев, объясняла это просто:

– Урвай! Назло людям выставили свои поганые зады.

Но причина такой застройки, конечно, была иная – та, что

Пижда расположена на южном берегу реки, и как же было отвернуться от солнца, когда оно и так нечасто бывает в этих лесных краях.

Я любил эту тихую деревушку, насквозь пропахшую молодым ячменем, развешанным в пухлых снопах на жердяных пряслах. Мне нравились старинные колодцы с высоко вздернутыми журавлями, нравились вместительные амбары на столбах с конусообразными подрубами – чтобы гнус не мог подняться с земли. Но особенно меня восхищали пижемские дома – большие бревенчатые дома с деревянными конями на крышах.

Впрочем, сам по себе дом с коньком на Севере не редкость. Но я ни разу еще не видел такой деревни, где бы каждый дом был увенчан коньком. А в Пижме – каждый. Идешь по подоконью узкой травянистой тропинкой, в которую из-за малолюдья превратилась деревенская дорога, и семь деревянных коней смотрят на тебя с поднебесья.

– А раньше их поболее у нас было. В двух десятках деревянное стадо считали, – заметила Милентьевна, шагавшая рядом со мной.

Старуха который раз за эти сутки удивила меня.

Я думал, после завтрака она, старый человек, первым делом подумает об отдыхе, о покое. А она встала из-за стола, перекрестилась, принесла из сеней берестяный пестерь и начала привязывать к нему лямки из старого холстяного полотенца.

– Куда, бабушка? Не опять в лес? – полюбопытствовал я.

– Нет, не в лес. К дочери старшей, в Русиху лажу сходить, – по-старинному выразилась Милентьевна.

– А пестерь зачем?

– А пестерь затем, что, все ладно, завтра из-за утра в лес уйду. Доярки коров доить поедут и меня прихватят. Мне, вишь, нельзя время-то терять. Я намало в этот раз отпущена, на неделю.

Евгения, до сих пор не вмешивавшаяся в наш разговор – она собиралась на работу, – тут не выдержала:

– Сказывай – намало отпущена. Завсегда так. Уж не отдохнет, не посидит без дела. Нет, моя бы воля – весь день лежала. А чего? Неужто человек только затем и рождается, чтобы с утра до вечера чертоломить?

Я вызвался проводить Милентьевну до перевоза – а вдруг перевозчик опять в загуле и старухе потребуется помощь.

Но у Милентьевны нашлись помощники и кроме меня. Ибо не успели мы поравняться с конюшной, старым полуразвалившимся гумном на краю деревушки в поле, как оттуда с разбойным свистом и гиканьем вылетел Прохор Урваев. На гремучей немазаной телеге, в которую был запряжен Громобой, единственный живой конь в Пижме.

Когда-то этот Громобой, надо полагать, был рысак что надо, а сейчас от старости он походил на ходячий скелет, обтянутый сопревшей от лишая кожей, и если кто еще и мог заставить этот скелет погребеть старыми костями, так это

Прохор – один из трех мужиков, оставшихся в Пижме.

Прохор, по обыкновению, был под мухой – от него так и разило дешевым одеколоном.

– Тета, тета! – закричал он, подъезжая. – Я твое добро помню. Я с утра дежурю с Громобоем, потому как знаю – тебе на перевоз. Так, тета? Не ошибся Прохор?

Милентьевна не стала отказываться от услуг племянника, и скоро телега с ней и Прохором покатила по зеленому выкошенному лугу, к желтевшей вдаль песчаной косе, где был перевоз.

Я вернулся домой.

Евгении дома уже не было – она ушла на поле помогать бабам убирать горох, и мне бы тоже в самый раз заняться своими делами: у меня и сетка за рекой не смотрена, да и в лес надо – когда еще выдастся такой ладный денек.

А я вошел в пустую избу, постоял неприкаянно под порогом и пошел на поветь.

С поветью меня познакомил Максим в первый же день (я сперва хотел спать на сеновале), и, помню, я просто ахнул, когда увидел то, что там было. Целый крестьянский музей!

Рогатое мотовило, кросна – домашний ткацкий станок, веретенница, расписные прялки-мезехи (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетенные из сосновой драни, из бересты и корня, берестяные хлебницы, туеса, деревянные некрашенные чашки, с какими раньше ездили в лес и на дальние сенокосы, светильник для лучины, солон-

ки-уточки и еще много-много всякой другой посуды, утвари и орудий труда, сваленных в одну кучу, как ненужный хлам.

– Надо бы выбросить все это барахло, – сказал Максим, словно бы оправдываясь передо мной, – ни к чему теперь. Да как-то рука не поднимается – мои родители кормились от этого...

С тех пор я редкий день не заглядывал на поветь. И не потому, что вся эта отжившая старина была для меня внове, – я сам вышел из этого деревянного и берестяного царства. Внове для меня была красота точеного дерева и бересты. Вот что не замечал я раньше.

Всю жизнь моя мать не выпускала из своих рук березового трепала, того самого трепала, которым обрабатывают лен, но разве я замечал когда-либо, что оно само льняного цвета – такое же нежное, лениво-матовое, с серебристым отливом? А хлебница берестяная. Мне ли бы не запомнить ее золотистого сияния? Ведь она, бывало, каждый раз, как долгожданное солнце, опускалась на наш стол. А я только и запомнил, что да когда в ней было.

И так все, что бы я ни взял, на что бы ни взглянул – и старый заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая, будто медвяная, чашка, выточенная из крепкого березового свала, – все открывало мне особый мир красоты. Красоты, по-русски неброской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом.

Но сегодня, после того как я познакомился со старой хо-

зыйкой этого дома, я сделал для себя еще одно открытие.

Сегодня я вдруг понял, что не только топор да нож мастера этой красоты. Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха (да, была тут и Андреевна, допотопной раскорякой стоявшая в темном углу) прошли в поле и на пожне. Крестьянские мозоли обкатывали и полировывали их.

6

На следующий день с утра зарядил дождь, и я опять остался дома.

Как и вчера, мы с Евгенией долго не садились за стол: вот-вот, думалось, придет Милентьевна.

– Не должна бы она сегодня далеко-то убрести, – говорила Евгения. – Не маленький ребенок.

Но шло время, дождь не переставал, а на том берегу – я не отходил от окошка – все никого не было. В конце концов я накинул на себя плащ и пошел затоплять баню: хорошо из нынешней лесной купели да прямо на горячий полук.

Бани в Пижме, черные, с каменками, стоят рядком неподалеку от реки, под огородами, которые как бы греются на взгорке.

Весной, в половодье, бани топят, и с верхней стороны против каждой из них врыты бревенчатые быки – для сдерживания и дробления напирających льдин, а кроме того, от этих

быков к баням протянуты еще могучие тяжи, свитые из березовых виц, так что бани стоят как бы на приколе.

Я спросил как-то у Максима: к чему все эти премудрости? Не проще ли было поставить бани на взгорке, там, где расположены огороды?

Максим по-урваевски, как бы сказала Евгения, рассмеялся:

– А затем, чтобы веселее жить. Весной, знаешь, бывало, какую пальбу по этим льдинам откроем! Ой-ей-ей! Из всех ружьев.

На следы дрови в старой продымленной дверке я обратил внимание еще в первые дни своего пребывания в Пижме – она сплошь изрешечена, а сейчас, затопив баню и вспомнив вчерашний рассказ Евгении, я попытался даже определить, какие тут дровины от того заряда, который выпустил когда-то по молодой Милентьевне ее муж. Но из этого, конечно, ничего не вышло. Да, откровенно говоря, мне было и не до прошлого. Потому что очень уж погано сегодня в лесу было, и как там старая Милентьевна? Все ли с ней в порядке?

Евгения тоже беспокоилась о свекрови. Она не могла усидеть дома и пришла ко мне.

– Не знаю, не знаю, что и подумать, – сокрушенно качала она головой. – Это уж она на Богатку уперлась – не иначе. Вот такая вот упрямая старушонка! Хоть говори, хоть нет. В ее ли годы под таким дождем лешачить в лесу.

Прикрыв лицо смуглыми руками, сложенными козырь-

ком, Евгения поглядела на реку и еще более определенно сказала:

– Учёсала, учёсала – больше некуда деваться. В прошлом году вот так же: ждем-ждем ее, все глаза проглядели, а она на свою Богатку укатила.

Я знал про Богатку – это поскотина в трех-четырех верстах от Пижмы вверх по реке, но я никогда не слышал, что там много грибов и ягод, и спросил об этом Евгению.

Она по привычке, когда дело казалось ей яснее ясного, округлила свои черные глаза:

– С чего! Какие грибы на Богатке? Может, теперь-то и есть – все лесом заросло, а раньше там сплошь пожни были. Один только Оника Иванович, мамин свекор, до ста возов сена ставил. Вот она кажинный год туда и ходит – с ей эта Богатка началась. Она всему делу закоперщица. А до того как мамы на Пижме не было, и слова такого никто не слышал. Поскотина да поскотина – и все тут.

Евгения кивнула на деревню:

– Лошадей-то деревянных видал на крышах? Сколько их? Во всей Русихе столько нету. А скажи-ко, часто ли ране ворота на взвозе красили? Это уж только богач, какой туз деревенский. А тут ведь, на Пижме, сплошь. Бывало, идешь мимо тем берегом – страшно, когда солнышко на закате. Так вот и кажется: вся Пижма в пожаре. Дак вот, все это у них с Богатки, там клады им открыла Милентьевна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.